

Ю. И.
АЙХЕНВАЛЬД

Избранное



Юлий Исаевич Айхенвальд
Минский
Серия «Силуэты русских
писателей», книга 49

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2595165

Аннотация

«Значение Минского в новейшей русской литературе определяется не столько его философскими рассуждениями и драмами, сколько его стихотворениями, которые в 1907 г. появились в отдельном собрании. Правда, и они – притом лучшие из них – тоже в гораздо большей степени философия, чем поэзия. Он вообще поэтизирует свои мысли, а не свои непосредственные настроения. У него поэзия несамостоятельна; она лишь привлечена к соучастию в его уме, и как-то случайны ее образы, и не чувствуется ее первостепенной важности. Но все же именно стихи Минского – наиболее интересный путь к его мирозерцанию, и в них оно выражается с наибольшей сжатостью и силой...»

Юлий Исаевич Айхенвальд

Минский

Значение Минского в новейшей русской литературе определяется не столько его философскими рассуждениями и драмами, сколько его стихотворениями, которые в 1907 г. появились в отдельном собрании. Правда, и они – притом лучшие из них – тоже в гораздо большей степени философия, чем поэзия. Он вообще поэтизирует свои мысли, а не свои непосредственные настроения. У него поэзия несамостоятельна; она лишь привлечена к соучастию в его уме, и как-то случайны ее образы, и не чувствуется ее первостепенной важности. Но все же именно стихи Минского – наиболее интересный путь к его мирозерцанию, и в них оно выражается с наибольшей сжатостью и силой.

К этой философии своей наш автор подходил очень медленно и неуверенно, и притом – окольными дорогами. Дело в том, что его песни, как он сам говорит, это – песни, «зачатые в черные дни, рожденные в белые ночи». И дни эти, и ночи – одинаково петербургские. Минский в своих стихотворениях раскрывает чувства и думы тех русских деятелей, или, вернее, тех русских созерцателей, которые изнывали в период конца семидесятых годов и в годы восьмидесятые. Тогдашний политический момент он воспринимал как безвременье; дни казались ему «черными»; они томили его и среди других

насилий производили над ним и то, горшее всех, что мешали ему быть поэтом. Глубину его души более привлекали «белые ночи», природа, – то, что лежит за пределами политики; но так как душа-то его вообще – не очень глубокая, не смелая, не автономная и так как дарование его не полновесно, то он и подчинился не самому себе, а эпохе, и нередко пел совсем не то, что ему хотелось, – не миротворные белые ночи, а черные дни с их текущею злобой. В оковах внушенной гражданственности, не доверяя себе, заглушая свои подлинные симпатии, он не позволял себе быть собою. И получилось одно из самых тягостных человеческих зрелищ: отсутствие внутренней свободы, картина рабства и духовной слабости. Например, стоит наш робкий поэт, наш несвободный художник, окруженный чарами природы: расстилается «даль морская», «кипарисов гордый лес», синее «голых скал зубчатая гряда», – и сознается Минский:

Я гляжу – и сердце млеет
От блаженства и стыда.
Стыдно мне, что нужно так немного
Для души измученной людской,
Чтоб утихла в ней тревога
И борьбу сменил покой;
Что сильней сознательного горя
Кипарисов благовонный лес,
Шорох листьев, шепот моря
И безмолвие небес.

Стыдно, конечно, не природой любоваться, а стыдиться этого. И так характерны для русского интеллигента самое выражение «сознательное горе» и вся эта неправильная расценка мира, при которой море и небо кажутся мелочью («нужно так немного»), кажутся чем-то гораздо менее важным, и серьезным, и достойным, нежели данная минута общности, политический день.

Отчасти в силу того же искусственно привитого тяготения к темам гражданского характера Минский не мог подняться до общечеловеческих сюжетов. У него недостает сил от людского дола взойти на высоты космические; его тянет к себе человеческая земля. Он ниже своих тем, и не только в его исторической драме «Смерть Кая Гракха» братья Гракхи походят на русских либералов, но и все эти многочисленные у него Прометеи, и Агасферы, и Христос как бы низведены со своих мировых вершин и втиснуты в рамки нашей общности.

Это тем более для них, титанов, и для нас, их почитателей, обидно, что, как ни искренен Минский в своей печали о родине, самая гражданственность его, однако, не имеет пафоса. Она не горит и не зажигает. Мы попросту читаем:

Я вижу вновь тебя, таинственный народ,
О ком так горячо в столице мы шумели, —

и так и представляется нам безобидный шум столичных

споров и разговоров, времяпрепровождение нашей интеллигенции.

Впрочем, есть у Минского и живое, несомненное сочувствие политическим страдальцам; поэт казненных, он с душевным призывом обращается к стране:

Родина-мать! Сохрани же, любя,
Память того, кто погиб за тебя.

И видно из его стихотворений, что суровые требования политической борьбы, ее неминуемая кровь не принимались его сердцем: он сознавал себя непригодным к битве, он не умел быть жестоким, и не без горечи, не без иронии над самим собою жалуется он на свой «кротости родник неистощимый», на то, что в случае грозы он горевал бы «возвышенно-умильно над каждым чуть придавленным цветком, над каждым чуть затронутым гнездом».

И в общем, теперь, когда мы стали шире и более зрелы и по-иному расцениваем перспективы и пропорции вещей; когда вдобавок трагическое вино революции не опьянило нас, а отрезвило от революционной романтики, – теперь часто отказываешь Минскому в поэзии и не делишь с ним, в горечи нынешнего разочарования, его былых настроений; но все же стихи его навевают хорошие, и теплые, и чистые воспоминания о той поре жизни, когда гражданская задача рисовалась нам в слишком элементарных и наивных чертах, зато –

в юношеской красоте идеализма и героизма.

Итак, между черными днями и белыми ночами в продолжение всей своей литературной деятельности колеблется Минский, и этим обусловлены ее зигзаги, ее переходы от тем гражданской скорби к искусству модернизма – и обратно. После общественности он в девяностых годах один из первых поднял знамя новой поэзии:

Я цепи старые свергаю,
Молитвы новые пою, —

а в минуту нашей первой революции выступил бардом социал-демократии и в плохой стих уложил девиз рабочих: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Эти метания в значительной степени вызваны тем, что уже в самом истоке своей работы Минский не знал, за кем ему идти: за эпохой или за самим собою. Вообще, ему помешали.

Этого, как мы уже упомянули, нельзя было бы сделать, если бы он сам был сильной художественной личностью. Но он не таков. Минский не совсем поэт. Над фантазией и чувством, над живою непосредственностью у него преобладает мысль, и к тому же мысль диалектическая, формальная, талмудическая; он любит играть антитезами, он идеи и стихи сопоставляет хитро и вычурно – он порою не столько мудр, сколько мудрит. Минский очень щедрую и, главное, добровольную дань платит риторике и аллегоризму; не претит ему

банальное, обесцвеченное, и невыносимы слишком частые у него и слишком неправдоподобные явления всяких духов, богинь и муз, которые держат ему длинные речи. Внешняя и внутренняя проза обычна для него, много у него стихов незаконных, иногда он грешит против русского языка, против его духа и даже грамматики – и все это отнимает у его слова выразительность, делает его небрежным и кое-где вульгарным, изобличает в авторе не художника, а только интеллигента. У него есть восточная цветистость, но побледневшая от ума (или умничанья).

В период гражданственности ему слышался «голос злой», который внушал ему: «Молчи, поэт досужный, и стань в ряды бойцов: слова теперь не нужны». Потом, когда морально вырос автор, он понял, что голос этот не прав, что слова всегда нужны и нет никого более необходимого, чем поэт; но в те дни, поддавшись внушению, он сам в уста красоты вкладывал призыв к поэту о том, чтобы певец со своими песнями пришел в толпу тогда,

Когда исполнятся надежды,
Герои, распротясь с войной,
Низложат бранные одежды...

Он, значит, сам отсрочивал красоту, а это – великий грех и великое безумие: нельзя отсрочивать красоту – иначе она может совсем и никогда уже не прийти к тебе.

Помимо того, в самой окраске души Минского есть ка-

кой-то роковой, трудноуловимый, но несомненный дефект. Именно в этой душе неодушевленной – мысли, не выпрямившиеся до конца, чувства недозревшие; в ней по временам начинается известное волнение, но скоро как-то беспомощно затихает, и на его месте воцаряется холодная лень, умственность и неокрыленность. Это – душа отмеренная, невесторженная, без неожиданностей для самой себя. Это – дух, ни разу не познавший горения, не возвысившийся до энтузиазма. Это – человек без иллюзий, без наивности, сопричастный анализу, однако и в него не погруженный, до глубины его не достигнувший и гамлетовской красоты его себе не усвоивший. Его сомнения не страстны. Та «ржавчина бессилия», про которую он говорит, покрыла его собственное сердце, и оно бьется несильно. Его скептицизм – вялый. Минский часто жалуется на усталость, и даже красивы его стихи об этом, искренни его томления; но выносишь такое впечатление, что он отдыхает не после труда, что он устал, не поработав. Ему не страшно повторять такой образ: он спит «в гробу усталости своей»; в его сердце «сеть плетет-плетет усталости паук», и собственного тела чужд ему вид. У него – много холодного, но без величавой красоты холода. Он упоминает о «стуже мировой», и жуткой силой звучит этот припев:

Усни, остынь, забудь, прости!

Но что же тогда останется в душе живого и горячего?

Ему говорит лунный свет, что «не надо любить и ни с кем никогда тайны сердца делить»; он и недаром целый цикл своих стихотворений озаглавил «Холодные слова»; и недаром также он употребляет выражение: «холод будничной души». Это характерно, что у него не золотое, а красивое серебряное руно – северные льдины.

И потому, вследствие этой холодности, не кажутся проникновенными, из глубины идущими его стихи, и даже то хорошее, что есть в нем, как бы не родилось из предельных недр его духа. За ним не признаёшь права собственности, и как будто он сам даже не притязает на него.

А хорошее есть у Минского. Оно особенно начало проявляться после того, как он освободился было от рамок обязательной гражданственности и раскрыл в себе то, что она заглушала: мы имеем в виду его стихотворения, собранные преимущественно в четвертом томе. Минский – не пустыня; или, по крайней мере, в ней есть оазисы. Пусть, говоря его словами, душа его «в размышлениях забыла весну и краски бытия» (в размышлениях, не пронизанных, однако, красотой Баратынского) – но, видно, красок бытия нельзя забыть совсем, и особенно, разумеется, тому, кто соприкоснулся поэзии. Оттого Минский и дает порою красивый и человечески одушевленный пейзаж, меткое изречение, сжатый афоризм поэзии.

Плывут две тучки, столь необычайны
По яркой красоте, столь горячи,
Что, кажется, усталое светило
С улыбкой им, как детям, уступило
На этот час весь блеск свой и лучи.

Или:

На горы взирая,
Здесь учится ветер лепить облака.

Или он говорит, что «рос бурьян мертворожденный», что,
«качаясь, маятник рождал и отрицал рожденное мгновенье».
У него есть нежность к женщине, когда

Над арфою она склонялась и играла.
Будила рокот струн движеньем белых рук;

и в предвиденье смерти, может быть, эта самая женщина
с белыми руками просит своего возлюбленного:

О, тогда мне прости и забудь
Ты цветами укрась мою грудь.
Свои долгие тяжкие муки,
Поцелуй мои бледные руки.

В этой области тонких и сложных ощущений Минский,
когда-то совсем не музыкальный, создал даже полную энер-

гии и звукоподражания поэму «Мертвые листья», в которой воспроизведен самый ритм листопада, и сильно, торжественно и властно звучат, например, такие стихи:

Вставайте, мертвые листья,
Осенний вихорь ищет вас
В полночный час...

.....

Усеял тысячью листов
Худое рубище лугов,
Оврагов скользкие бока,
Болота, кручи, берега.
Но прибывает листьев строй
За роем рой.
В степи, обветренной вокруг,
Есть, говорят, заветный круг.
Гонимы вихрем, как судьбой,
Листы воздушною тропой
Туда стремятся каждый год
В дни непогод.
Туда, с землей разлучены,
Мертвы, но не погребены,
Они летят со всех сторон
И молча молят похорон,
У неба молят, что вдали,
И у земли.

В этом есть и красота, и мистика. И затем обращается поэт

(теперь уже настоящий поэт) к снежным хлопьям, чтобы они покрыли собою, саваном своим, земли нагое тело:

Как слова холодных песен нежных
Исцеляют боль сердец мятежных,
Исцелите боль осенних ран.
Там, где листья тлеют мертвой кучей,
Возникайте насыпью летучей,
Хлопья снега, цвет надзвездных стран.

.....

Вы мои услышали моления,
Вы земли окутали селенья,
Хлопья снега, пух чистейших крыл.
Как напев стихов моих холодных,
Ваш налет алмазов небородных
Язвы мира скрасил и покрыл.

Вообще, чем дальше уходил Минский от своей несвободной молодости, тем серьезнее и значительнее становилась его поэзия. Стих его, далеко не освободившийся от всех своих недостатков, приобрел, однако, энергию и сосредоточенность.

Но только душа его – уже усталая и старая: нельзя безнаказанно прожить годы и блуждать по дорогам посторонним.

И оттого мы читаем:

...Увы, как стара, как согбенна душа
Под гнетом всех прежних смертей и рождений.

На утре ли дней, иль в могилу спеша,
Мы – чуждого солнца вечерние тени,
Мы – вечер усталый не нашего дня,
Мы – пепел холодный чужого огня.
И оттого слышится молитва усталого поэта:
Прости мне, Боже, вздох усталости!
Я изнемог
От грусти, от любви, от жалости,
От ста дорог.

Может быть, именно в сознании этой усталости своей Минский в строфах «Душа и природа» настраивает читателя на мысль о том, что земля устала, вода же вечно неутомима. Земля и мы на ней, мы, земные, устаем, но весел и юн

Слитный голос вод бегущих,
Журчащих, ропчущих, поющих.
Тяжела старая земля, но легки воды:
О, вода,
Из всех стихий, с тобой рожденных,
Одна ты вечно молода.

Утомленная душа поэта пришла к Богу, но «не как цветок идет в лучи тепла, не как вершина в свет эфира горний» – нет:

Чрез сумерки сомнений, ночь безверья,
Чрез темные холодные преддверья

К твоей гробнице, Боже, я сошел,
Я – робких душ бестрепетный посол,
Я – шатких стен недвижная основа,
Я – корень человечества больного.

Минский приобщился к философии (он и в статьях своих развивал теорию мэонизма). Когда он узрел Бога, он не умер, а воскрес – воскрес для красоты и мысли, для глубоких прозрений в то, что ждет нас «на том берегу» (о котором говорит, задумчиво говорит его «Вечерняя песня»), – для размышлений о том, что

Как сон, пройдут дела и помыслы людей,
Забудется герой, истлеет мавзолей,
И вместе в общий прах сольются.
И мудрость, и любовь, и знанья, и права,
Как с аспидной доски ненужные слова,
Рукой неведомой сотрутся.

Обобщая, мы скажем, что продолжение Минского примиряет с его началом. На самом деле мир, конечно, не аспидная доска, и ничто с него не стирается. Такова и литература: ни одной страницы настоящей из нее не вырвешь. У Минского есть такая страница. Пусть он – небольшой, пусть развивался он не в естественной эволюции, пусть и сам он виноват в том, что его исказили, ввергли в аберрацию, что ему помешали, – все-таки усилиями духа он, хотя и поздно, себя нашел и се-

бя рассказал и этим искупил свой вольный и невольный грех перед поэзией – то умаление эстетики, в котором и он, по недоразумению, принимал когда-то печальное участие.